



Роман Пустослов
Многоэтажка

«Автор»

2026

Пустослов Р.

Многоэтажка / Р. Пустослов — «Автор», 2026

Дом номер семь по Стекольному переулку, девять этажей. В подвале истопник со стажем сорок один год топит котёл, который вот-вот заменят автоматикой, а угловая квартира, куда отопление не подведено, почему-то на градус теплее расчёта. Внизу на вахте Зоя Карповна узнаёт жильцов по шагам и по гулу лифта; её фамилии за тридцать лет не знал никто. Два брата одиннадцать лет не разговаривают — между ними лестница в двенадцать ступеней. Сосед снизу заводит тетрадь в клетку и записывает в неё каждый шум над головой. У Нины Сергеевны две полки с вареньем, и про вторую спрашивать нельзя. Костя из тридцать восьмой каждый декабрь работает Дедом Морозом и этого стыдится. Двенадцать рассказов об одном доме. Как говорит истопник: рыба к воде, дурак к начальству, человек к теплу.

© Пустослов Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Истопник	5
Зоя Карповна	11
Лифт, который ждут	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Роман Пустослов

Многоэтажка

Истопник



Лену прислали принимать котельную дома номер семь по Стекольному переулку в среду, в одиннадцать, и она опоздала на двадцать минут, потому что не нашла вход. Вход был не там, где рисовала схема из ЖЭКа. Схема показывала аккуратную дверь со двора, а дверь оказалась заколочена крест-накрест двумя досками и одним почтовым ящиком, прибитым неизвестно зачем и неизвестно когда. Настоящий вход был с торца, по семи ступеням вниз, мимо труб, обмотанных тряпьем так старательно, будто кто-то лечил их от радикулита.

Внизу пахло окалиной и мокрой шерстью. Это был первый факт, который Лена занесла в свою служебную память: окалина и мокрая шерсть. Потом она поняла, что мокрая шерсть — это варежки. Варежки висели на верёвке, протянутой над котлом, десятка полтора пар, разнокалиберных, и сохли, тихо роняя капли на горячую чугунную плиту, и капли шипели и пропадали.

— Закрывай, дует, — сказал ей человек, не оборачиваясь.

Лена закрыла. Человек сидел на табурете, спиной к двери, лицом к котлу, и был похож на старый чайник: такой же закопчённый, помятый и явно ещё кипящий. Это и был Семён Тихонович. Лена знала про него из бумаг ровно одну строчку: «Истопник, стаж 41 год, подлежит сокращению в связи с переводом на автоматику».

— Я Елена, — сказала Лена. — Меня прислали принять.

— Принять, — повторил Семён Тихонович, как пробуют слово на зуб, не понравилось ли. — Принять можно сто грамм. А это сдают. Большая разница, девушка.

И замолчал, довольный, будто выиграл партию.

Лена достала папку. В папке был акт, в акте — пункты, и по этим пунктам выходило, что котельная дома номер семь устарела морально и физически, что её надлежит вывести из эксплуатации, а тепло завести через новый узел, который поставят весной во дворе, в опрятной будке, и который будет работать сам, без человека, по приборам и по графику, экономно и без перерасхода. Слово «оптимизация» в акте стояло три раза. Лену, собственно, и прислали как

часть оптимизации: молодую, с дипломом, чтобы за месяц вошла в курс, описала, что есть, и подготовила к демонтажу.

— Я тут поработаю месяц, — сказала она. — Посмотрю, как у вас всё устроено. А весной — узел.

— Узел, — кивнул Семён Тихонович. — Узел — это хорошо. Узел не пьёт, не курит, не опаздывает на двадцать минут.

Лена решила не обижаться. Это, в общем, был правильный подход к старикам: не обижаться авансом, чтоб хватило сил не обидеться по делу.

Котёл был старый, это она увидела сразу. Марки она такой не знала, в институте такие не проходили, их к тому времени уже сняли с производства, как снимают с эфира хорошую, но затянутую передачу. Низкий, пузатый, с круглой чугунной дверцей, которая закрывалась на рычаг, и рычаг лязгал так, что закладывало уши. Семён Тихонович лязгал им раз в час, подбрасывал, смотрел в гудящее нутро прищурясь, как смотрят в чужое окно, и закрывал.

— А автоматику зачем? — спросил он на второй день. — Чтоб никто не смотрел?

— Чтоб без человеческого фактора, — сказала Лена. Это была фраза из методички, она сама её немного стеснялась.

— А-а, — сказал Семён Тихонович. — Человеческий фактор. Это который греет.

Лена хотела возразить, что греет уголь, но не возразила.

К концу первой недели она составила опись и поняла, что та неполная, потому что в неё не входило главное. В опись входили: котёл (один), насос (два, один в ремонте с тысяча девятьсот непонятно какого года), задвижки, манометр со стрелкой, привязанной ниткой к нужной цифре, табурет, верёвка с варежками, банка с гвоздями, банка без гвоздей, чайник (рабочий), второй чайник (на нём сидели). А в опись не входило то, что в котельную весь день кто-то спускался.

Спускались по-разному. Утром приходила женщина с пятого этажа, ставила на плиту бидончик и говорила, что у неё батарея в спальне «как неживая», и Семён Тихонович обещал «глянуть стояк», и они полчаса обсуждали, кто виноват — стояк или соседи сверху, которые перекрыли что-то своё. Бидончик грелся. Женщина уходила тёплая и довольная, что нашла виноватых. Днём забежали двое мальчишек, сушили варежки и ввали Семёну Тихоновичу про двойки, а он врал им в ответ про то, как сам учился, и враньё у обоих было такого качества, что Лена заслушивалась. Под вечер заходил мужчина в пиджаке, садился на второй чайник, молчал минут двадцать, говорил «ну, я пошёл» и уходил. Зачем приходил — Лена так и не поняла. Уходил он чуть прямее, чем приходил.

— У вас тут проходной двор, — сказала Лена.

— Двор во дворе, — согласился Семён Тихонович. — А что? Тепло. Народ к теплу и идёт. Рыба к воде, дурак к начальству, человек к теплу. Закон природы.

Вахтёрша, Зоя Карповна, спускалась дважды в день — погреть ноги и узнать новости. Новостей в подвале было больше, чем наверху, потому что наверху люди жили по квартирам, каждый в своей, а вниз сходились все, и информация тут осаждалась, как накипь в чайнике. Зоя Карповна знала всё про всех и половину рассказывала Лене, видимо считая её уже своей, раз спустилась.

— А вы её, значит, закрывать, — сказала Зоя Карповна без вопросительного знака. — Котельную-то.

— Модернизировать, — сказала Лена.

— Это слово я знаю, — кивнула Зоя Карповна. — Это когда было и не стало.

И Лена опять не нашлась.

Странность она заметила на десятый день, и заметила профессионально, по приборам, а не по чувству, потому что чувствам в трубопроводе она не доверяла. Она обходила дом с тепловизором — старым, казённым, который врал, но врал стабильно, — и составляла карту:

где сколько. И вышло, что в доме была одна квартира на четвёртом этаже, угловая, к которой по схеме не подходил ни один стояк. Глухой угол. Туда вело только перекрытие и наружная стена с двух сторон. По всем расчётам там должно было быть холоднее, чем везде, градусов на пять. А было — теплее. Не намного. На один градус теплее, чем имела право быть эта стена.

Лена перепроверила. Поменяла батарейку в тепловизоре. Замерила соседние. Залезла на чердак, проверила, не идёт ли там какой левый розлив, кустарный, как бывает, когда жилыцы сами себе провели. Не шло. Угол был сам по себе, отрезанный от системы, и был на градус теплее.

Она спустилась к Семёну Тихоновичу с этой цифрой, как с уликой.

— Четвёртый этаж, шестнадцатая, — сказала она. — Угловая. Туда не подведено. А там плюс один к расчёту. Откуда?

Семён Тихонович подкинул в котёл, лязгнул рычагом и подумал.

— Шестнадцатая — это где Анна Игнатьевна жила, — сказал он. — Слепая. Хорошая была старуха, пекла. Котёл её любил.

— Котёл не может никого любить, — сказала Лена. — Котёл — это теплообмен.

— Это конечно, — легко согласился Семён Тихонович. — Теплообмен. А греет всё равно туда. Я лет двадцать назад тоже считал, как ты, с прибором ходил, начальству докладывал. Начальство сказало: убери угол, мешает балансу. Я убрал из бумаг. А из стены не убрал. Не моё хозяйство — стена.

— Так не бывает, — сказала Лена.

— Не бывает, — кивнул он. — А есть. Ты грей дальше, оно само разберётся, кому быть, кому не быть.

Лена записала в блокнот: «4 эт., угл., +1°, аномалия, проверить розлив повторно». Розлив она проверила. Аномалия осталась. Больше она про неё в котельной не заговаривала, потому что Семён Тихонович явно собирался ответить байкой, а байкам она пока не доверяла так же, как чувствам.

Байки у него были одна другой неправдоподобнее, и рассказывал он их, не спрашивая, хочет ли кто слушать, — как подкидывал уголь, по графику.

— Был в наше время на ТЭЦ-четыре истопник, — заводил он, — Гаврила Степаныч, фамилию забыл, а отчество помню, потому что он на него отзывался, а на фамилию нет. Так он котёл свой так чувствовал, что зимой пятьдесят шестого, когда мороз ударил под сорок и весь город сидел синий, он один держал тепло на три квартала. Без угля. Уголь весь смёрзся в один камень, не разбить. А он держал. Спрашивают: чем топишь? А он: добрым словом, говорит, и старым валенком. Один валенок за всю зиму спалил. Левый.

— Почему левый? — спросила Лена против воли.

— А правый он берёт, — сказал Семён Тихонович с упрёком, будто это и так ясно. — На случай если совсем.

Лена засмеялась. Засмеялась — и сама удивилась звуку, потому что в этом подвале, оказывается, можно было смеяться, и звук тут был хороший, низкий, гулкий, как в храме или в большой кастрюле.

— Врёте вы всё, Семён Тихонович, — сказала она.

— Половину, — честно сказал он. — Но не угадаешь которую. В этом весь интерес.

Время шло, как ему положено идти зимой, — то быстро, то застывало. Лена приходила к девяти, описывала, замеряла, чертила, и руки у неё постепенно учились медленности: как закрыть задвижку, чтоб не клинило, как послушать насос ладонью, как открыть дверцу так, чтоб не пыхнуло. Голова при этом продолжала всё высмеивать: знала, что весной всё это спешут, что узел в опрятной будке сделает то же самое ровнее и дешевле, и что медленность рук — это просто навык, который ей в новой системе не понадобится. Руки знали что-то другое и помалкивали.

В начале февраля пришла бумага. Бумага была хорошая, на плотном, и сообщала, что срок перенесли: монтаж узла назначен не на весну, а на конец февраля, в связи с досрочным освоением средств. Котельную надлежало вывести из эксплуатации к двадцатому. Истопника — рассчитать. Подпись была от того самого начальства, которое двадцать лет назад велело убрать угол из бумаг.

— Двадцатого, — сказала Лена вслух.

Семён Тихонович сидел на табурете и не оборачивался.

— Я слышал, — сказал он. — У меня уши на спине, сорок один год вырабатывал. — И помолчав: — Ты не виновата. Тебя прислали. Присланные не виноваты, это закон.

«Ты не виновата» было хуже любого упрёка, и Лена это поняла.

Девятнадцатого она пришла к девяти. Двор был серый, насквозь промёрзший, во дворе уже стояла будка нового узла — белая, аккуратная, ещё пустая внутри, как новый холодильник. Будка не дула паром, не пахла окалиной, не сушила ничьих варежек. Будка ждала.

В котельной былолюдно. Это Лена отметила сразу: людно девятнадцатого, как будто кто-то оповестил. Хотя никто не оповещал — просто к теплу шёл народ, по закону природы, и в этот предпоследний день народу пришло больше обычного. Женщина с пятого этажа с бидончиком. Мальчишки с варежками. Мужчина в пиджаке на втором чайнике. Зоя Карповна с ногами. Кто-то ещё, кого Лена не знала по этажу, но узнала по лицу — лицо тут у всех делалось одно: разглаженное.

Обсуждали, по обыкновению, логистику.

— А угол-то теперь как? — спрашивала женщина с пятого. — Шестнадцатая. Туда ж не подведено, оно само грелось.

— От котла грелось, — говорила Зоя Карповна. — Котёл уберут — и угол стынуть будет.

— Узел не догреет, — качал головой мужчина в пиджаке, неожиданно вступив. — Узел по схеме работает. А по схеме там ноль.

— Может, котёл потом куда денут, а не на лом, — предполагал кто-то. — В музей.

— В музей котёл, — фыркал Семён Тихонович. — А топить музей чем? Экскурсоводами?

Никто из них не сказал ни слова о том, зачем они тут все собрались и что, собственно, теряют. Говорили про градусы, про схему, про стояк, про то, кто виноват. Смысл лежал в подвале вместе с ними, грелся, и его старательно не называли, потому что назвать — значило бы признать, что его уносят.

Лена стояла со своей папкой и слушала. В папке был акт. По акту завтра приходила бригада, отключала котёл, сливала систему, врезала узел. Истопника рассчитывали с выходным пособием в размере, который Лене было неловко произнести даже про себя.

Она вышла во двор. Постояла у белой будки. Потрогала её — холодная, ровная, без единого упрёка. Внутри будки всё было правильно. Лена всю жизнь шла к тому, чтобы внутри было правильно. Она достала телефон, чтобы позвонить и доложить, что объект к сдаче готов, — и не позвонила. Убрала. Это был её первый поступок за месяц, который не значился ни в одной методичке: убрать телефон.

Потом она спустилась обратно. Народ к тому времени разошёлся ужинать. Семён Тихонович сидел один, спиной к двери, лицом к котлу.

— Закрывай, дует, — сказал он не оборачиваясь.

Лена закрыла. Подошла. Котёл гудел низко, ровно, варежки капали и шипели.

— Семён Тихонович, — сказала она. — Покажите, как вы его на ночь оставляете. Чтоб до утра держал.

Он повернулся. Посмотрел на неё долго, как смотрел в нутро котла, прищурясь.

— Тебе зачем? — спросил. — Завтра сливать.

— Покажите, — сказала Лена. — Для описи. Полнота требуется.

Это была ложь, и оба это знали, и Семён Тихонович впервые за месяц не стал спорить со словом. Он встал, кряхтя, взял совок.

— Смотри, — сказал он. — На ночь не кидают как днём. Днём кидаешь много и часто, чтоб горело. А на ночь — мало и в один угол, в дальний, под колосник. Чтоб не горело, а тлело. Огонь как человек: накорми досыта — спалит всё и заснёт голодным к утру. А дай впритык — сам растянёт. Понимаешь? Не жадничай и не балуй. Вот сюда. И заслонку вот так, на палец. Не на два. На два — выдует. На палец — дышит.

Лена взяла совок. Руки её, наученные за месяц, сделали всё сами: набрали мало, положили в дальний угол, под колосник, потянули заслонку на палец. Голова в это время кричала, что завтра придёт бригада, что котёл сольют, что она нарушила распоряжение тем уже, что не позвонила, и что нарушит сильнее, если сейчас растопит на ночь объект, подлежащий выводу из эксплуатации, и что это будет в акте, и что премия, и что характеристика, и что вообще. Руки заслонку поставили на палец. Не на два.

Лязгнул рычаг. Котёл вздохнул и принял.

— Вот, — сказал Семён Тихонович. — Теперь до семи продержит. До семи я и сам тут буду, а дальше — твоё дело молодое.

— Я завтра напишу, — сказала Лена.

— Что напишешь?

— Что объект к выводу не готов. Аномалия по углу шестнадцатой. Требуется дополнительное обследование теплового режима в межсезонье. Узел не покрывает контур. — Она говорила ровно, инженерным языком — тем, что обычно служил начальству, а сейчас служил ей. — Это правда, между прочим. Угол на градус теплее. Без причины. Пока причину не найдём — выводить нельзя. Это нарушение методики.

Семён Тихонович смотрел на неё, и закопчённое его лицо понемногу делалось ещё закопчённее, потому что он его тёр.

— Они тебя за этот градус, — сказал он, — со свету сживут. Премии не дадут. И из штата выпишут, как меня. Узел-то уже куплен.

— Узел пусть стоит, — сказала Лена. — Узел не пьёт, не курит, не опаздывает. Постоит во дворе, подождёт. Подождёт, пока мы причину ищем. — Она помолчала. — А причину мы будем искать долго. Методика не ограничивает сроки обследования.

Тут Семён Тихонович сделал то, чего за весь месяц не делал: засмеялся. Смех у него был такой же, как пространство вокруг, — низкий и гулкий, и Лена поняла, откуда у неё взялся в этом подвале её собственный смех. Заразилась. Накипь осела.

— Ишь, — сказал он. — Обследование. Сорок один год работаю, а такого слова в защиту котла не слыхал. Это ж надо. Бумагой котёл прикрыва. Их же оружием.

— А вы думали, диплом только на закрыть, — сказала Лена.

Они помолчали. Котёл тлел в дальнем углу, под колосником, на палец заслонки, и дышал, и держал, как ему было велено держать. Где-то на четвёртом этаже угловая стена шестнадцатой квартиры была на градус теплее, чем имела право, и никто этого не объяснял, и Лена решила, что и не будет, потому что в обследовании важно не найти причину, а искать; найдёшь — закроют.

— Гаврила Степаныч, — сказал Семён Тихонович задумчиво, — он бы тебя одобрил. Он начальство тоже валенком крыл. Левым.

— А правый берёг, — сказала Лена.

— На случай если совсем, — кивнул он, очень довольный, что она запомнила.

В тот вечер на пятом этаже грелся бидончик. Во дворе стояла белая будка нового узла, чистая, ровная, без единого упрёка, и ждала. А в подвале, по семи ступеням вниз, мимо труб, обмотанных, как от радикулита, в запахе окалины и мокрой шерсти, под низкий гул и редкое

шипение капель сидели двое и молчали, и один из них завтра должен был прийти к семи, а другой не должен был приходить вовсе, и оба знали, что придут.

Зоя Карповна



Дом номер семь по Стекольному переулку держался на Зое Карповне так же, как держится чайник на одной нитке, привязанной к нужной цифре, — никто не помнит, кто привязал, но все знают, что без неё стрелка сойдёт.

Зоя Карповна жила на втором этаже, в квартире двадцать три, а сидела внизу, на вахте, и это были два разных места, и оба были её. Наверху она спала. Внизу она работала, то есть знала. Знание было её должностью, не записанной ни в одном договоре. В коробке стола у неё лежали: журнал учёта прихода-ухода (за этот год и за прошлый, прошлый снизу), запасной ключ от подвала, запасной ключ от чердака, отвёртка, нитки, очки на верёвочке, валидол, кулёк сушек — она подкармливала кота — и тетрадь в клеточку, без единого слова: одни столбики цифр и галочки, и расшифровать её не мог никто, потому что шифр был у неё в ухе.

Зоя Карповна знала дом по звуку. Лифт, поднимаясь, гудел на каждом этаже чуть иначе, и она по этому гулу понимала, кто едет и до какого. Шаги по лестнице она различала, как различают почерк: вот идёт женщина с пятого, ставит ногу всей подошвой, устала; вот мальчишки Нины Сергеевны, через две ступеньки, врут про двойки уже на подходе; вот мужчина в пиджаке, тот, что ходит греться в котельную и молчать, — этот ступает ровно, а возвращается чуть прямее. Зоя Карповна сидела, вязала что-то бесконечное, серое, никому, и слушала дом — как приёмник, в котором ловится только одна станция, зато круглые сутки.

— Куда? — спрашивала она входящего, не поднимая глаз.

— В сорок первую, к Воронцовым.

— Их нету. На дачу уехали в среду. Письмо им суйте мне, передам.

И гость, обескураженный тем, что вахтёрша знает про Воронцовых больше, чем он, оставлял письмо и уходил, а письмо ложилось в коробку, и в свой час находило Воронцовых, потому что Зоя Карповна знала и про дачу, и про среду, и про то, что в пятницу они заедут за тёплыми вещами.

Так было устроено. Так было всегда. И поэтому, когда во вторник утром у входа никого не оказалось, дом сначала этого даже не заметил.

Заметил он к обеду.

Первым забеспокоился лифт. То есть забеспокоились люди в лифте, но казалось, что лифт. Приехал курьер с коробкой, нажал кнопку, поднялся на седьмой, позвонил — не

открыли. Спустился, посмотрел на пустую вахту, на табурет, на недовязанное серое, повисшее на спицах, как незаконченная мысль, и не у кого было спросить, тут ли вообще живут эти, в седьмой, и когда бывают. Лифт повёз курьера вниз, гудя на каждом этаже одинаково, ровно и глупо, ничего не сообщая — слушать его всё равно было некому. Курьер уехал с коробкой обратно.

Потом пришло письмо без квартиры. На конверте было имя — «Соколовой З. К.» — и дом, и переулок, а квартиры не было, стёрлась под дождём. Почтальонша постояла в подъезде, держа конверт на отлёте, как держат что-то живое и кусачее. В другой день она сунула бы его Зое Карповне и забыла. Зоя Карповна знала всех Соколовых, и всех на «З. К.», и под каким дождём какая буква стёрлась. Но вахта была пуста. Почтальонша подумала и сунула конверт в ящик тридцать третьей, наугад, потому что тридцать три — хорошее число. В тридцать третьей никаких Соколовых не было. Письмо легло в чужой ящик и пропало для адресата на неделю, а адресат, между прочим, ждал.

К вечеру на третьем этаже поссорились.

Поссорились двое — женщина с пятого, та, что всей подошвой, и сосед, у которого над ней капало. Капало с прошлой осени. Обычно это разруливалось так: оба спускались на вахту, каждый со своей правдой, и Зоя Карповна, не отрываясь от вязания, выслушивала обе правды, после чего объявляла третью, свою, которая была обиднее всего, потому что оказывалась справедливой. «У тебя стояк, у тебя соседи сверху, виноваты оба, скиньтесь по-людски на хомут и не позорьте дом». И расходились, недовольные общим, что куда приятнее, чем недовольство порознь.

А тут разливать оказалось некому. Они стояли на лестничной площадке, между третьим и четвёртым, и говорили друг другу то, что обычно не говорят — обычно успевают спуститься на вахту раньше, — и слова эти, ничем не гашённые, поднимались по лестничному пролёту вверх, к самой крыше, оседали там, и дом от них делался выше и холоднее.

В среду утром выяснилось, где Зоя Карповна.

Выяснилось случайно. Михалыч, дворник, скрёб у входа лёд и увидел, как от подъезда вчера на «скорой» кого-то увозили, — он видел, но поздно сообразил, кого, потому что Зоя Карповна без своего табурета, без журнала, под одеялом, на носилках, была не Зоя Карповна, а просто немолодая женщина, и он её не узнал. А узнав задним числом, бросил лом и пошёл по этажам стучать.

— Карповну увезли, — говорил он в каждую дверь, тихо, будто сам был в этом виноват. — Вчера. На «скорой».

И тут дом обнаружил странную вещь.

Все знали Зою Карповну. Не было человека в доме номер семь, кто бы её не знал. Знали тридцать с лишним лет, знали как стену, как лифт, как запах подъезда. И при этом, когда собрались на площадке второго этажа — а собрались быстро, потому что Михалыч обошёл всех, — выяснилось, что не знает её никто.

— Куда увезли-то? — спросила Нина Сергеевна, та, что варенье. — В какую больницу? Никто не знал.

— А родные у неё? Позвонить кому?

Молчание.

— Фамилия-то у неё какая? — спросил мужчина в пиджаке, и это был, наверное, самый длинный его выход за год.

И тут стало совсем тихо. Потому что фамилии Зои Карповны не знал никто. Тридцать лет. Зоя Карповна — и всё. Как будто фамилия ей не полагалась, как лифту не полагается отчества.

— Соколова она, — сказала вдруг почтальонша, которая тоже поднялась, неизвестно зачем, должно быть из любопытства. — Соколова, З. К. Мне ж письмо вчера было, я в тридцать третью сунула.

— Какая Соколова, — сказала Нина Сергеевна. — Соколовы — это в сорок первой, Воронцовы которые до них.

— А вот и нет, — сказала почтальонша, обиженная за свою профессию. — На конверте: Соколовой З. К. И дом наш. Квартуру дождём смыло, я и сунула в тридцать три.

Письмо извлекли из тридцать третьей, где оно тихо лежало сутки в чужом ящике. Вскрывать чужое не стали — слишком уже привыкли к Зоиному порядку, при котором чужое неприкосновенно, — но конверт повертели, как улику. «Соколовой З. К.». Обратный адрес был городской, другой район, и подпись — «твоя Тамара».

— Тамара, — сказала женщина с пятого. — Сестра, может. Или подруга.

— Или должница, — сказал мужчина в пиджаке. — «Твоя» — это кто деньги должен так пишет.

На него посмотрели, и он умолк до следующего года.

И тут кое-кто начал действовать.

Действовать начала Нина Сергеевна — это удивило всех, включая её саму, потому что Нина Сергеевна была женщина прижимистая, спорила из-за пропорций сахара и не любила выходить из дому в холод. Но у неё был принцип, твёрдый, как засахарившийся мёд: если в доме кому плохо, плохо должно быть организованно. Беспорядка она не выносила сильнее, чем расходов.

— Так, — сказала она. — Больниц, куда с этого района возят, две. Митя!

Митя был внук, дутый, дежурный, приехавший к бабушке на неделю и думавший отсидеться. Митю снарядили. Поехал по двум больницам — не потому, что рвался, а потому, что бабушка велела, и у этого нежелания была своя цена: Митя отменил какие-то свои планы, важные, как кажутся важными планы в двадцать лет, и поехал в холод искать вахтёршу, которую и в лицо-то помнил смутно: сушки, спицы, «куда?».

В первой больнице Соколовой З. К. не было.

Во второй была.

Митя позвонил Нине Сергеевне с проходной, и Нина Сергеевна, не вешая трубки, передала весть на площадку, и та пошла по дому вверх и вниз, как тепло от котла, и дом, накануне пустой и холодный, потому что некому было держать стрелку, вдруг засуетился, забегал, загудел всеми этажами разом.

— В девятую горбольницу, — объявила Нина Сергеевна. — Терапия, третий этаж. На обследование положили, сердце. Не помирает, не выдумывайте. Лежит, ругается.

«Лежит, ругается» — это всех успокоило больше любого диагноза. Это была Зоя Карповна. Помирающая Зоя Карповна была немыслима. Ругающаяся — узнаваема.

Дальше встал вопрос, который в любом доме встает и который обычно решает кто-то один, тихо: кто пойдёт и что понесёт.

В доме номер семь его решили всем домом, шумно, и решали часа полтора на площадке второго этажа, и в этом полуторачасовом гвалте дом впервые за тридцать лет познакомился сам с собой.

— Я Воронцов, из сорок первой, — представился человек, которого все знали в лицо тридцать лет и которого никто не звал по фамилии. — Я машину дам, кого надо отвезу.

— Очень приятно, — сказала женщина с пятого. — Я Кораблёва. С пятого. У меня капает, кстати, — это она в сторону соседа сверху, машинально, по привычке, но без вахты ссориться было неинтересно, и сосед сверху неожиданно сказал: «Да я хомут уже купил», и на этом многолетняя война кончилась, без посредника, сама, как кончается насморк.

— А я и не знал, что вы Кораблёва, — сказал сосед сверху, оказавшийся Гушиным.

— И я не знала, что вы Гушин, — сказала Кораблёва.

Они стояли, два многолетних врага, и держали в руках свежкупленный хомут и собственные фамилии, как держат сдачу, которую не ждали.

Понесли — кто что. Тут тоже вышла заминка: нести полагается то, что человек любит, а чего любит Зоя Карповна, не знал, понятно, никто.

— Цветы, — предложил кто-то.

— Какие цветы, — отрезала Нина Сергеевна. — Она цветы за пыль держит. Я её знаю. Поставит и забудет полить, а потом ругается, что стоит сухое и глаза мозолит.

Дом сообразил, что Нина Сергеевна, хоть фамилии и не знала, кое-что про Зою Карповну всё-таки знала, — и стал вспоминать, кто что знает, и из этих обрывков начал складываться человек.

— Она сушки любит, — сказал мальчишка, Митин ровесник снизу. — Не себе. Коту. Но и себе, я видел.

— Чай у неё хороший, в синей пачке, — сказала Кораблёва. — Я как-то спрашивала, что за чай, она не сказала, но я по пачке запомнила.

— Очки у неё запасные дома, на втором, — сказал Михалыч. — А она в больницу без очков уехала, на носилках. Без очков ей там тоска. Я ключ возьму, очки привезу. — И тут все вспомнили, что у Зои Карповны где-то лежит запасной ключ от её же квартиры — у неё самой, в коробке, на вахте, — и что коробка теперь без хозяйки, и что в коробку придётся лезть, а лезть в Зоину коробку было так же немыслимо, как в чужой карман.

В коробку полезли всем домом, чтобы вина была общая. Открыли. И коробка их пристыдила.

В коробке лежал дом. Журнал учёта, где напротив каждой квартиры — кто, когда, до какого. Тетрадь в клеточку со столбиками, которую так и не сумели прочесть, но в которой угадали — по галочкам — кто из стариков давно не выходил, и за кем, значит, она приглядывала. Запасные ключи — от подвала, от чердака, и ещё пяток, подписанных не фамилиями, а по-своему: «5-й, нога», «дед снизу», «Нинин Митя приедет». От квартир тех, кто мог захлопнуться, забыть, упасть. Зоя Карповна держала запасные ключи от половины дома и не сказала об этом ни одной живой душе — сказать значило бы напугать людей мыслью, что они могут упасть.

— Это она нас... — начала было Кораблёва и не договорила, потому что слово, которое просилось, было слишком большое и тёплое для лестничной площадки, и она его проглотила, и правильно сделала.

Поехали впятером, на Воронцовской машине. Нина Сергеевна с банкой — не варенья, варенье Зоя Карповна, по слухам, не ела, — а с куриным бульоном, потому что бульон ели все и всегда, бульон был ниже спора. Михалыч с очками на верёвочке. Кораблёва с синей пачкой чая, купленной по дороге, той самой, угаданной по памяти. Митя — потому что Митя уже знал, где терапия, и Митю было удобно. И мужчина в пиджаке, неизвестно с чем, в руках у него ничего не было, но он сел в машину молча, и его не прогнали, потому что в этом доме давно привыкли, что он приходит непонятно зачем и уходит чуть прямее.

В палате Зоя Карповна лежала у окна и ругалась — на капельницу, на соседку по палате, на врача, который не говорил, когда выпишут. Без очков она шурилась и оттого выглядела сердитее обычного. Когда в дверь палаты протиснулось сразу пятеро её дома, она сначала не узнала их без подъезда, как Михалыч не узнал её без табурета.

Потом узнала.

И первое, что она сказала, было:

— А вахта на кого?

Не «здравствуйте». Не «спасибо, что пришли». А — вахта на кого. И по этому вопросу все пятеро поняли, что приехали не зря, потому что человек, у которого первая мысль в боль-

нице — кто слушает дом, пока её нет, — это и есть тот человек, кого они тридцать лет не знали по фамилии.

— На замке вахта, — сказал Михалыч. — Все живы. Гуцин с Кораблёвой помирились.

— Помирились, — Зоя Карповна хмыкнула, и в этом хмыке было больше, чем в любых цветах. — Без меня помирились. Ну надо же. Тридцать лет не могли, а тут на тебе. — Она помолчала, прищурясь. — Это они, значит, поняли, что разнимать некому, и сами. Дурачье. Я ж нарочно их не мирила. Помиришь — скучно станет, опять что найдут.

Очки она надела сразу, как Михалыч их протянул, и, надев, оглядела всех пятерых по очереди, придирчиво, как осматривают подъезд после уборки.

— Воронцов, — сказала она. — Сорок первая. Ты чего тут? Тебе на дачу пора, у тебя там трубу разморозит, я тебе говорила в среду.

— Я слил, Зоя Карповна, — сказал Воронцов. — Я слил воду, всё нормально.

— Слил он, — она снова хмыкнула, но уже мягче, потому что он слил, послушался, запомнил. — Бульон чей?

— Мой, — сказала Нина Сергеевна и приготовилась к спору про бульон.

Спора не вышло. Зоя Карповна попробовала, подумала и сказала только:

— Соли мало.

И это была высшая похвала, какую Нина Сергеевна слышала за сезон, потому что «соли мало» означало, что бульон в принципе достоин обсуждения, а большего Зоя Карповна не дала бы и родной сестре.

Про сестру, кстати, спросили осторожно — мужчина в пиджаке, набравшийся за год слов.

— Тамара вам кто? Письмо вам пришло, от Тамары. Мы не вскрывали.

Зоя Карповна посмотрела на конверт — тот лежал на тумбочке, смытая дождём квартира, «твоя Тамара» — и лицо у неё на секунду сделалось не вахтёрское, а просто человеческое: какое бывает, когда при тебе называют имя из времени, которого больше нет.

— Сестра, — сказала она коротко. — Двоюродная. В другом городе. Раз в год пишет, что жива. Я ей раз в год — что тоже. Вот и вся родня. — И, опередив жалость, которая уже собиралась на лицах: — И не надо тут. Родни много — заботы много. А у меня дом. Дом большой. Хватает.

«А у меня дом» она сказала так, как говорят про семью, не подчёркивая, что про семью, и пятеро жильцов дома номер семь, стоявшие вокруг её койки, поняли, что вот это и есть фамилия, которую они тридцать лет не знали: не Соколова, а — дом номер семь по Стекольному переулку.

Выписали её через два дня. Воронцов привёз на машине. Дом встретил её сам, без оповещения, — просто, когда машина подъехала, во дворе оказалось людно, как в котельной перед закрытием: и Кораблёва, и Гуцин с погашенной войной, и Нина Сергеевна, и Митя, не уехавший, и Михалыч с ломом, бросивший лёд, и мужчина в пиджаке, и кот подъезда, неизвестно как почуявший, сидел на её табурете, как на троне, и Зоя Карповна согнала его одним взглядом, и кот ушёл, не обидевшись, потому что место всё равно было его, просто на время.

Зоя Карповна села на вахту. Достала из коробки недовязанное серое, которое два дня провисело на спицах незаконченной мыслью, оглядела петли — не спустились ли, — и спицы пошли, и дом, услышав этот звук, выдохнул.

— Куда? — спросила она первого же входящего, не поднимая глаз.

— Да я к себе, Зоя Карповна, я Гуцин, с шестого.

— Знаю, что Гуцин, — сказала она. — Хомут поставил?

— Поставил.

— То-то, — сказала Зоя Карповна. — А то развели сырость.

И всё стало на свои места, и стрелка перестала врать, и письмо «Соколовой З. К.» она в тот же вечер переложила из чужого ящика себе в коробку, чтобы при случае ответить Тамаре,

что жива, потому что больше про это сообщить было некому, кроме неё самой, а она была теперь дома.

Лифт, который ждут



Инспектор Лебедев приехал в девятиэтажку на улице без названия в начале одиннадцатого, и первое, что он увидел, войдя в подъезд, был свет.

Не дневной — на улице было серо, и осень стояла из тех, что не идёт дальше, а просто висит между домами, как бельё, которое забыли снять. Свет шёл из лифта. Створки были раздвинуты, и внутри горела лампочка под жёлтым стеклянным колпаком, и колпак был чистый, без той седой пыли, что копится в подъездах годами. Лебедев остановился. В его наряде значилось: лифт пассажирский, старый, грузоподъёмность 320, остановлен по предписанию шесть лет назад — когда в подъезде поставили новый, — обесточен, к демонтажу. Новый возил людей в соседней шахте; этот стоял. Обесточенный лифт не светится.

— Вы по лифту? — спросила женщина со второго этажа, не дожидаясь, пока он сообразит.

Она сидела у окна на площадке, на табурете, который явно жил тут постоянно — с подушкой, протёртой до основы. На коленях у неё лежал журнал в коричневой обложке, в каких раньше записывали, кто пришёл и кто ушёл.

— Зоя Карповна, — представилась она. — Я тут вроде за порядком. Вы Михалыча ищите. Он внизу, чистит.

— Чистит что?

— Лифт, — сказала Зоя Карповна так, будто Лебедев спросил, чем дышат.

Лебедев был молодой человек двадцати восьми лет, с папкой, с бланками, с убеждением, что мир состоит из вещей, которые либо работают, либо нет, и третьего не дано. Он спустился на полпролёта. Дверь в подвал была приоткрыта, оттуда тянуло тёплым — котельным, ламповым теплом, и пахло не сыростью, как полагается подвалу, а металлической полиролью и немного — мандариновой коркой, хотя до мандаринов было ещё месяца два.

В подвале человек в синем халате тёр тряпкой латунную кнопку. Кнопка была одна, отвинченная, и лежала на расстеленной газете, как пациент. Рядом стояла банка с чем-то белёсым и второй человек, постарше, в валенках при плюсовой температуре, сидел на ящике и смотрел.

— Михалыч? — спросил Лебедев.

— Он, — ответил тот, что в валенках. — А я Семён Тихонович, истопник. Вы кнопку не трогайте, она ещё мокрая.

Лебедев представился. Назвал управляющую компанию, номер предписания, объяснил, что лифт давно списан, что шахта представляет опасность, что есть график и завтра приедет бригада с автогеном. Говорил гладко, потому что говорил это часто. Михалыч слушал, не переставая тереть. Доводил кнопку до того, что в латуни проступило окно и в нём — маленький жёлтый колпак лампочки, отражённый.

— Поедет, — сказал Михалыч, когда Лебедев закончил.

— Простите?

— Лифт. Я говорю — поедет. Кнопку ставлю, он поедет. — Михалыч поднял кнопку к свету. — Вон, гляньте, какая.

Лебедев глянул. Кнопка была старая, с буквой, стёртой пальцами за тридцать лет до гладкого пятна, но начищенная так, что больно смотреть. На обороте — резьба, чистая, без зелени.

— Михалыч, — сказал Лебедев мягко, как говорят со старыми, что бывает обидно, потому что старые это слышат. — Он не поедет. Там нет тока. Кабель срезали ещё при остановке.

— Я знаю, — сказал Михалыч.

И вернулся к полировке.

«Я знаю» Лебедев потом будет вспоминать дольше всего. Не упрямство сумасшедшего, который не верит в очевидное. Спокойное знание человека, который очевидное проверил руками раньше тебя и сделал свой вывод, и вывод этот в твою папку не помещается.

Наверху Зоя Карповна налила ему чаю из термоса, который тоже жил на площадке.

— Вы не думайте, он не выживший из ума, — сказала она. — Он лучше нас всех соображает. Он войну застал ребёнком, а я давно сюда въехала, на этом лифте поднималась с пианино. Грузчики ругались, а он вёз. Хороший был лифт.

— Был, — сказал Лебедев и услышал, что повторил за ней прошедшее время, и это его кольнуло.

— Зеркало посмотрите, — сказала Зоя Карповна. — Только не пугайтесь.

Лебедев не понял про «не пугайтесь», но к лифту подошёл. Зеркало в кабине было овальное, в латунной раме той же выделки, что кнопка. Чистое до невидимости стекла. Он встал перед ним и увидел себя — серое пальто, папку под мышкой, лицо человека, который сегодня ещё не обедал. А потом, на секунду меньше секунды, в зеркале за его плечом стоял кто-то ещё.

Девочка лет семи. В клетчатом пальтишке, с портфелем. Она смотрела не на него, а вверх, на табло этажей, и ждала, как ждут лифта дети — нетерпеливо, переминаясь.

Лебедев обернулся. На площадке никого не было, кроме Зои Карповны с журналом.

— Видали, — сказала она, не поднимая глаз от журнала.

— Что это, — сказал он — не вопросом: вопрос предполагал бы ответ, который можно вписать в бланк, а такого не было.

— Это так бывает, — сказала Зоя Карповна. — Не каждый раз. У кого как. Семён Тихонович жену там видит, молодую. Я — никого, мне не положено, я приезжая. Михалыч... — Она замолчала. — Вы у него не спрашивайте. Сами поймёте, если останетесь.

Лебедев не собирался оставаться. Он собирался подписать акт и уехать к четырём, потому что в четыре у него был ещё один объект на Восьмого Марта. Он достал бланк, отвинтил колпачок ручки.

И тут лифт загудел.

Тихо, почти под порогом слуха — как гудит холодильник в чужой кухне ночью. Створки, которые были раздвинуты, дрогнули и пошли — медленно, с тем достоинством, с каким двигались лифты, сделанные людьми, которые не торопились. Сошлись. Внутри что-то щёлкнуло, мягко, и стрелка над дверью — старая, чёрная стрелка на белом циферблате с цифрами до

девяти — поползла. Один. Два. Кабина шла вверх. Лебедев стоял с ручкой в руке и слушал, как обесточенный, срезанный, мёртвый по всем его бумагам лифт идёт на третий этаж, везя пустоту — и пустота эта весит ровно столько, сколько весит семилетняя девочка с портфелем.

Стрелка остановилась на трёх. Постояла. Поехала вниз. Створки на первом раздвинулись. Внутри было пусто. Горел жёлтый колпак.

— Он на третьем останавливается, — сказала Зоя Карповна. — Михалыч жил на третьем. Лебедев завинтил ручку.

Он спустился обратно в подвал. Михалыч прикручивал кнопку на место — на панель в кабине, которую, оказывается, успел снять и почистить с изнанки. Руки у него были в полировке, в трещинах, как у дерева, и двигались точно. Он надел кнопку на штырёк, подул, протёр обшлагом.

— Кого вы ждёте, — сказал Лебедев. Без вопросительной интонации, потому что уже знал, что вопрос будет неправильный.

Михалыч не сразу ответил. Поставил последний винт.

— Дочка у меня была, — сказал он. — Светлана. Давно уже. Семь лет ей было. Бежала домой из школы, портфель тяжёлый, на горке упала, на льду, виском. Я лифт чинил тогда внизу, не слышал. Её соседи нашли. — Он провёл пальцем по букве на кнопке, по стёртому месту. — Она этот лифт любила. Кнопку нажмёт и стоит, ждёт, как он едет. Ей нравилось, что едет. Я ей говорил: подожди, Света, подожди, сейчас приедет.

Он замолчал. Лебедев молчал тоже, потому что любое слово было бы как наступить.

— Я знаю, что она не приедет, — сказал Михалыч ровно. — Сорок восемь лет знаю. Каждое утро знаю. — Он посмотрел на инспектора, и глаза у него были сухие, давно сухие, заплаканные до прозрачности. — Я его не для того держу, чтоб думать, будто приедет. Я держу, чтоб, если она вдруг — вдруг — то чтоб не стыдно. Чтоб лифт был хороший. Чтоб лампочка горела. Чтоб ей было где подождать.

Он встал, и колени щёлкнули.

— Списывайте, конечно, — сказал он. — У вас бумага. Я понимаю. Только зеркало мне отдайте, я его домой возьму. И кнопку.

Лебедев вышел из подвала и постоял на лестнице. Мимо прошёл старик, держась за перила и считая ступени вслух тихо, чтобы не сбиться, — Зоя Карповна потом сказала: Аркадий Борисович, слепнет уже год, почти не видит, и лифтом всё равно не пользовался бы, ему второй этаж.

— Молодой человек, — сказал Аркадий Борисович, остановившись на ощупь. — Это вы лифт ломать?

— Я инспектор.

— А свет там горит? Я вижу, что светлее стало на площадке. Глазами не вижу, а кожей чувую. Он горит?

— Горит, — сказал Лебедев.

— Ну и пусть горит, — сказал слепой удовлетворённо и пошёл дальше, считая.

Кот сидел на подоконнике между этажами и смотрел на лифт. Подъездный кот, рыжий, с одним надорванным ухом, ничей и общий. Он сидел так, как сидят, когда чего-то ждут, — собранно, не отводя глаз от створок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.